Вероника Капустина

Намотало

Вероника Леонидовна Капустина
Намотало

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6023039
Намотало: Рассказы.: Геликон Плюс, Союз писателей Санкт-Петербурга; Санкт-Петербург; 2012
ISBN 978-5-93682-819-5

Аннотация

Вашему вниманию предлагается сборник рассказов от Вероники Капустиной

Содержание

Намотало 5
Щекотка 13
Лиза и постовой Тищенко 23
Ветер в голове 33
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Вероника Капустина
Намотало

©Капустина В., текст, 2012.
©«Геликон Плюс», макет, 2012.

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Намотало

У художника Козлова была история про девочку Тамару. Она рассказывалась обычно ни к селу ни к городу, на ровном месте, вдруг, при минимальном алкогольном опьянении. Чаще наедине, но охвачены были почти все знакомые. Откуда, спрашивается, мне известно, что почти все, если чаще наедине? Да потому что знакомые Козлова между собой общались, дамы особенно. В основном не те, с которыми у Козлова было «вон чего», как выражается Вера, а те, которые «просто чаю попить». И тех и других, подозреваю, было немало. Но насчёт тех, с которыми «вон чего», у Козлова всегда было строго: он предпочитал их друг с другом не знакомить. Две бывшие жены и нынешняя любовница за одним столом – мизансцена не для Козлова. Старомодный человек, хоть и не старый. А мы, которые «просто чаю попить», – мы, конечно, общались.

История простая. Я вообще сначала думала, что на нас действует исключительно артистичность исполнения. Итак, в молодые годы художник Козлов подрабатывал в типографии, на каком-то там станке. Тот же станок обслуживала Тамара. Уж не знаю, как они делили между собой один несчастный станок, только Козлов считался Тамариным начальником. Дело в том, что Тамара эта всё время плакала. У неё была такая конституция: на любое прикосновение, не то что

тычок, окружающей действительности она отвечала слезотечением. От чего под глазами, вероятно, припухало, а на нежных щеках не просыхали слёзные дорожки. Это совершенно не портит в двадцать лет. Да, по-моему, и в шестьдесят не портит. Я считаю, что людям вообще идёт плакать. Надо больше плакать, хотя бы для того, чтобы чаще слышать фразу «не надо плакать». Прекраснее слов я не знаю. Козлову, должно быть, частенько приходилось говорить их Тамаре, а это, согласитесь, для мужчины тяжёлый труд. Для мужского речевого аппарата некоторые сочетания звуков невероятно сложны, например «бедная» или, скажем, «прости»… Тамара отказывалась носить на работе комбинезон, якобы потому, что он ей велик на два размера, а на самом деле, потому что стеснялась недостатков своей фигуры, и ходила в чёрном рабочем халатике. Станок попался хищный и цепкий: как ухватит Тамару за полу халатика – и ну наматывать её (полу) на какой-то там свой вал! Девочка, естественно, плакала и кричала, хотя и вполголоса:

– Алексей Иваныч, меня опять намотало!

И Козлов отбивал её у злобного агрегата. Пожрать Тамару целиком и напитаться её слезами станку так и не удалось. Она вскоре уволилась. Это первая часть.

Далее. Года через три идёт художник Козлов по городу, где-то, кажется, недалеко от Таврического сада. Вдруг воздух влажнеет и свежеет и слышатся очень знакомые звуки: это Тамара идёт навстречу и плачет.

– Тамара! – говорит Козлов. – Куда тебя опять намотало?

Далее. Ещё года через три Козлов встречает Тамару с молодым человеком, и молодой человек – ничего себе, но тоже, такое впечатление, что глаза у него на мокром месте. Всё! Трёхчастная композиция: станок, Таврический сад, молодой человек. Триптих.

Козлов вовсе не склонен наговаривать пластинки. Он вообще редко возвращается к однажды сказанному. Это даже раздражает. Например, поговорили вы с ним о Дега и остались недовольны друг другом. Ты к следующему разу и аргументов припасёшь, и несколько сложноподчинённых предложений правильно выстроишь, приходишь – а поезд ушёл: больше никто с тобой о Дега разговаривать не станет, уже не интересно. Я думаю, Козлов очень быстро тот разговор забывал, ронял из памяти, терял, и терять было не жалко. Ему вообще ничего было не жалко. Придёшь – чаю нальёт и сахара не пожалеет, и как дела расспросит. Не придёшь больше никогда – тоже не страшно. Если, конечно, он же успел ознакомить тебя со своим триптихом. Мне даже стало казаться, что у Козлова так много знакомых именно для того, чтобы как можно больше людей на земле знало о слезоточивой Тамаре. Чтобы образ её запечатлелся в их сознании.

В других своих историях художник Козлов практически не повторялся. Ася слушала про то, как он готовит луковый суп. Вера – про то, как он однажды случайно встретил Новый год на Дворцовой площади, уснув под Александрийским

столпом, а вторая жена в это время ждала его дома. Соня знала всё о карнавале в Гаване, где Козлову лично помахал рукой Фидель Кастро, но зато о луковом супе и не слыхивала.

Получилось так, что совершенно посторонняя плакса стала занимать в нашей жизни непропорционально большое место. Ася призналась, что часто пытается себе представить, как Тамара выглядит сейчас. Жалкое зрелище! Вера, посмеиваясь, сказала, что даже во сне её видела однажды: тощая, кривоногая, глаза красные, как у кролика. Пока мы вибрировали, у Козлова как раз наметилась выставка в Англии. Я представила себе, как он перерезает ленточку, пританцовывая от нетерпения, и вот уже говорит на неизвестно откуда взявшемся у него английском:

– Ladies and gentlemen, once there was a girl named Tamara…

У Аси недавно умерла бабушка. Козлов нёс гроб, хотя с бабушкой раньше знаком не был. Но зарёванной Асе только пожал руку, как мужчине. Веру обокрали в автобусе: вытащили всю зарплату вместе с красивеньким кошелёчком. Козлов тут же отдал Вере имевшиеся у него 700 рублей, и… И всё!!! Совершенно ясно, что ни о похоронах, ни о краже, ни об Асиных слезах, ни о Вериных Козлов никогда никому рассказывать не будет.

Несмотря на такой вот невыносимый характер, знакомые у Козлова не переводились. Были такие, которые нарочно

звонили ему в день, скажем, именин (своих, а не Козлова) только для того, чтобы Козлов их поздравил. Мы с верой, правда, до такого не доходили, но Асе и Соне случалось. Соня вообще чуть не ушла от нас. В призрачный и таинственный клан женщин, с которыми «вон чего». Случись это – я бы и рассказать ничего не смогла, потому что Соня сделалась бы недоступна и не поведала бы нам о картине. Но Соня осталась с нами, что, правда, тяжело переживает. Она вообще впечатлительная и тоже, должно быть, всё плакала бы, если бы не играла вместо этого на флейте в симфоническом оркестре. Выплакавшись в пяти-шести концертах, Соня всё-таки рассказала, как было дело.

Сидят они с Козловым у него в мастерской и пьют чай. И не только чай. Что уже настораживает. И рука Козлова тянется к руке Сони, а рука Сони – к руке Козлова, и обоим, как всегда в таких случаях, почему-то кажется, что нужно что-то сказать, кроме «вот такие дела…», и Соня, углядев на стене пасмурное пятно (не так часто Козлов работает темперой), говорит, дура:

– А это… что такое?

Естественно, втайне надеется, что отвечать ей на этот глупый вопрос не станут, а только поднимутся со стула, и, значит, проклятый круглый столик – больше не помеха, ну и так далее. Козлов сначала всё так и делает, то есть встаёт и движется к Соне и одновременно к картине. Но в какой-то момент Соня понимает, что всё-таки больше к последней.

И он задумчиво на неё смотрит (не на Соню) и начинает подробно отвечать на заданный вопрос. И вовсе не потому, что он самовлюблённый мазила, предпочитающий мёртвый, но свой холст живой, но пока чужой Соне. Это бы ещё ладно! Но Козлов, как утверждает Соня, говорит о картине с той же интонацией (о, тут ей можно верить, флейтистка, слух абсолютный), с какой говорил о слезливой Тамаре. То есть, сам не понимаю, зачем говорю, но не могу удержаться – и говорю.

Потом звонит телефон: именины у кого-то случились или ещё что, и пока Козлов разговаривает, Соня, естественно, смотрит на картину, и, скорее всего, сквозь слёзы обиды. Ну а когда трубка повешена, то, глядишь – Козлов уже опять сидит, да и Соня тоже, и между ними торчит этот пузатый самодовольный столик, который все мы так ненавидим.

Картина называется «Свадьба», и всем нам, завсегдатаям, она, разумеется, знакома. На мой взгляд там изображено вот что: деревья где-то в окрестностях, например, Сухуми (ну, Абхазия не Абхазия, а что-то общегрузинское чувствуется), сумерки, не то раннее утро, не то поздний вечер, но скорее утро, из-за деревьев к вам выходят невеста в белом кисейном коконе и жених в чёрном смокинге. На заднем плане – ещё люди. Многие в чёрном. Да, конечно, сумерки – необыкновенного синего цвета. Да, вы почти обоняете запах хвои и, возможно, лимона, и слышите абсолютную тишину. Но и всё! На мой взгляд, у Козлова есть работы и получше.

Но Соня-то утверждает, что и деревья, и воздух, и белый кокон невесты, и сама невеста, и жених, – всё это на картине плачет. Плачет о чём-то невозможном, не состоявшемся, вернее, состоявшемся, но не нашедшем себе никакого выражения, не оставившем после себя никакого следа. Да, всё молчит и плачет о невозможности высказаться. Но не будем же забывать, что сама Соня смотрела на картину сквозь слёзы, хотя она это категорически отрицает.

Соня страдает, бедная. Кидает её из стороны в сторону. То скажет, что взглянув на картину, всё поняла и надежды никакой нет, то твердит, что это досадное недоразумение, что дело в телефонном звонке, в столике… В короткой «Памятке оставленным и несчастливо влюблённым», которую я непременно как-нибудь напишу, потому что очень хочу помочь этим несчастным, у которых в душе ад и скрежет, в первом её пункте, будет написано: «Даже мысли не допускайте о том, что ваш предмет тоже хоть немного о вас скучает! Эта мысль истерзает вас, заставит совершать жалкие поступки, пытаться «всё исправить», и, в конце концов, вы сойдёте с ума от отвращения к себе, и ничего не исправите». А ещё там будет пункт: «Никому не рассказывайте главного. Оно – главное – со стороны всегда выглядит глуповатым, оно будет сопротивляться, а вы – исступлённо пробовать и пробовать…». Но Соне уже никакая памятка не впрок. Её схватило и намотало: как начнёт вдруг о картине «Свадьба»! Ни к селу ни к городу, на ровном месте, совершенно посторонним

ЛЮДЯМ…

Щекотка

Ещё со средних веков известно, что если эпидемия, теракт, путч, то можно либо лечь лицом к стене и проспать от отчаяния семнадцать часов, либо собраться вместе небольшим контингентом и нести всякую чушь. Притом чем зловреднее вирус, чем бесчеловечнее наёмные убийцы, чем наглее узурпаторы, тем жизнерадостнее будет чушь, тем чаще под нежные «ах» будут падать и разбиваться – к счастью – рюмки. Разговор зашёл смешной – о щекотке, почему – никто бы потом и не вспомнил. Почти все сразу включились. Лев, который всё знал, просто всегда и всё знал, немедленно сообщил, что щекотка – атавизм, рефлекторная реакция на мелких насекомых, досталась нам от животных. Прибегнув к помощи Николая Николаевича, человека без лица и стиля, выяснили, что из животных щекотки боятся разве что обезьяны и крысы, а остальные просто не знают, что это такое. Обезьяны хотя бы смеются, подумала Женя Черешнева, а крысы, значит, молча терпят. Но не сказала. Хорошо, что Николай Николаевич сам почему-то добавил, что у крыс вместо смеха есть на этот случай характерный, не похожий на обычный, писк. Снова вступил Лев и отметил, что щекотка – это ещё и вмонтированный в нас генератор хорошего настроения. Он вспомнил прочитанную где-то историю про недоношенную английскую девочку: полукилограм-

мовый ребёнок норовил умереть, уснуть, но мама регулярно щекотала ему пяточки площадью с почтовую марку каждая, – и дочка постепенно превратилась в упитанного младенца с очень весёлым нравом. История всем страшно понравилась, и Люся рассказала, как в детстве, когда случалось промочить ноги, бабушка растирала ей ступни спиртом – и сколько визга было, как было весело… Жене Черешневой припомнилось, как они с подружками возились у неё дома, и Ленка с Танькой стали щекотать её, и они все трое скатились с двуспальной родительской кровати на пол, подружки всё не унимались, и Женя, чтобы они поняли, говорить она уже не могла, сильно, очень сильно ударилась затылком об пол. Они всё равно не сразу отпустили, хотя и удивились, что она бьётся головой об пол. Но она опять ничего не сказала, потому что это воспоминание совершенно не подтверждало выкладок Льва. Получилось бы некстати. Потом заговорили о пытках щекоткой, о мелких насекомых, которых сажали пытаемым на самые чувствительные места и накрывали колпачком… Воскресенский был в ударе, а Женя Черешнева знала, – когда-то, лет пятнадцать назад, вместе учились, – что он большой любитель Хулио Кортасара и особенно «Игры в классики». А там один человек коллекционирует пытки, то есть описания пыток. Так вот Воскресенский знал их все наизусть, а она этот кусок в своё время пропустила, быстро перелистав несколько страниц, и очень испугалась, что сейчас он всё ей и расскажет. Но, слава богу, Игорю было плевать

на Воскресенского и хотелось о своём, – о том, о чём ему всегда хотелось с тех пор, как появилась Люся.

– Слушайте, зашёл в Интернет, парень какой-то пишет: «Ну не могу, мужики! Посоветуйте, что делать. Когда она меня руками ласкает, всё хорошо, но если губами – туши свет, – кричу, вырываюсь, чуть не до судорог дело доходит. Что делать, посоветуйте, щекотно!» Все смеялись, и очень по-доброму, как всегда смеются, когда о половой близости говорят как о забавном чудачестве, дескать, надо же, есть же дурачки, которые этим занимаются. И сквозь смех каждый прикидывал, припоминал… И Люся-таки вспомнила. Она сделала вид, что краснеет, она это очень хорошо обозначила, только самой краски не было, потому что тут нельзя по заказу, потому что это рефлекс, и пробормотала: «Да, шея особенно…». «И ухо! Ухо!», – мысленно воскликнула Женя Черешнева, и уши отзывчиво окрасились в насыщенный красный цвет, заставив её пожалеть, что постриглась так коротко. Никто ничего не заметил, и только Николай Николаевич ни к селу ни к городу серым голосом сообщил, что боязнь щекотки коррелирует со склонностью краснеть и предрасположенностью к «гусиной коже». Но на это тоже никто не обратил внимания, потому что Лев гнул своё и сейчас предложил использовать щекотку при обмороках и коллапсах. А почему нет? Нашатырь действует на обоняние и ведь как хорошо работает, а воздействовать на осязание чем хуже? Эта тема стала радостно ветвиться, а бедные Игорь и Люся совершенно

выпали из разговора, потому что им вдруг ужас как захотелось поскорее ещё раз проверить, как там обстоят дела с шеей. И ядовитый Воскресенский это заметил и тут же оповестил остальных. И над Игорем и Люсей принялись потешаться, все, даже Инна, супруга Льва, от которой не ожидали, но у интеллигентных людей тоже раз в год бывает звёздный час. Только Николай Николаевич без внешности и характера молчал. И вообще было непонятно, что он здесь делает. Да он, кажется, просто сосед и вроде бы ветеринар или что-то в этом роде, и не однажды помогал Инне с чёрной кошкой Чумой (с ударением на первый слог), у которой, как у всех кошек, слабые почки. Игорь и Люся уже как-то невозможно громко смеялись с абсолютно застывшими лицами. Жене-то Черешневой давно хотелось поговорить о двух вещах: о том, как же мы теперь будем жить, неужели так, как раньше, и о том, делают ли прививки от гепатита. И надо ли непременно человека, у которого гепатит, то есть которому и так плохо, загонять в Боткинские бараки, – чту за средневековье в двадцать первом веке. Она когда шла сюда, так и думала, вот приду, сразу скажу: и как же мы теперь будем жить… Иногда кажется, что тебя сразу все поймут, и что все идут с той же мыслью, но когда входишь и видишь лица, понимаешь, что нет, а если и да, то ни за что не признаются. Почему-то. Почему? И вообще Женя Черешнева умела только на подхвате: «Да? Ну а вы? Ещё бы! А если бы тогда эти победили? А карбофосом? Ну, не обязательно… Ну ещё бы… Надо ду-

мать…». А солировать не умела совсем. А вот, познакомьтесь, это Женя Черешнева, вот она про это всё знает, послушаем. Люди сразу покупались на тёплые нежные имя и фамилию, и она действительно знала, но стоило ей сказать три-четыре фразы – и слушатели почему-то начинали смотреть вбок, будто она говорит неприличное, и спешили перевести разговор на домашних любимцев или поездки за границу. Тут Жене нечего было сказать, потому что она дома никого не держала, кот давно ушёл от неё, а рассказывать о поездках в ближнее зарубежье, в Харьков, к дядьке, майору Черешневу, тоже ведь не станешь. Лев сейчас как раз объявил, поглядывая на Игоря и Люсю, что щекотку можно понимать ещё и как грубую сексуальную игру. Недаром сам себя человек щекотать не станет, а если и станет, то не будет при этом повизгивать и веселиться. Ни за что. Тут обязательно нужен второй. И вот если этот второй хотя бы намекнёт жестом, что собирается щекотать… Вот, мол, что я мог бы с тобой сделать, но не сделаю… пока. Игорь и Люся остекленели от смеха. Лев, указав на Люсю, как на живой экспонат, сообщил, что такой смех, ну, без особой причины, называется «телесным». Вот и от щекотки такой бывает. В отличие от смеха «сентиментального», каким смеются, когда понимают, почему. Николай Николаевич слабо улыбнулся, Жене Черешневой показалось, что «сентиментально». Ей даже захотелось спросить: «Вы что?», но она не стала. Всё равно не услышит. Бывало, вся компания затянет хором «Вихри враждебные»

или «Тридцать три коровы», споют, а потом Игорь возьми и спроси Женю Черешневу: «А ты почему не поёшь?», – а она, главное, пела во весь голос! Она пожалела Игоря с Люсей и решила рискнуть. История-то забавная. Вдруг что и получится. Всё равно про гепатит не поговоришь сегодня. И она громко сказала: «А у меня есть история про эпидемию щекотки», и сразу подумала, что вот, выдала себя с головой с этой «эпидемией». Все неловко замолчали, Лев досадливо пожал плечом, у Люси на носу выступили капельки пота – её долго терзали и теперь отпустили, смеяться больше не требовалось, – и она вернулась к мыслям о шее. Игорь ободряюще ей улыбнулся: мол, ничего, это позади, а впереди у нас сама знаешь что.

– Когда я училась в первом классе, у нас началась эпидемия: подкрадывались друг к другу сзади и начинали щекотать. Этим занимались все перемены напролёт, но и на уроке можно было проделывать это с впереди сидящим, особенно когда учительница подойдёт поближе. У некоторых здорово получалось. У толстого мальчика Алёши Щербука, например. Я долго держалась. Три дня. Не мстила, просто старалась передвигаться боком, а лучше всего всю перемену стоять в рекреации, прислонясь спиной к стене. Но на третий день, совершенно озверев, подошла сзади к толстому Щербуку и начала яростно щекотать его. Интересно, что он ничего не почувствовал и обратил на меня внимания минуты через две. Но в тот самый день лопнуло терпение и у Раисы

Ивановны. И она сказала: «Так, встаньте те, кого щекотали». И встало очень много народу. Я испугалась и не встала. Потом она сказала:» А теперь встаньте те, кто щекотал». И снова, представьте себе, встали люди. Поменьше их было, конечно, но встали, поднялись, и даже многие из тех, кто вставал и в первый раз, что, в общем, естественно: око за око, подмышка за подмышку. Я опять сидела. Потом я пришла домой и, разумеется, сразу же открылась маме, какая я гадина. И мама сказала:

– Всё ещё можно исправить. Надо просто признаться, что ты испугалась. Надо сказать правду, и тебе сразу станет легче.

– Я завтра подойду к Раисе Ивановне и скажу ей…

– Нет, – возразила мама, – это нужно сделать не так. Ты соврала при всём классе и сказать правду тоже должна при всех.

Не помню, чтобы я сопротивлялась. Наверно, и сама понимала, что так будет правильно. И на следующий день, когда начался урок, и учительница стала объяснять деление, я подняла руку.

– Что, Женя Черешнева?

Я стою на дрожащих ногах, вся потная, и говорю:

– Раиса Ивановна, я вчера испугалась, когда вы сказали встать, а на самом деле… И Я ЩЕКОТАЛА, И МЕНЯ ЩЕКОТАЛИ.

Я думала, все надо мной будут смеяться, но никто даже не

хихикнул, а Раиса Ивановна как-то смущённо произнесла:

– Садись и больше так не делай.

Цели у Жени Черешневой тогда и сейчас были разные, а результат получился тот же самый. Никто не засмеялся и на этот раз, и это опять удивило Женю. Есть люди, которых ничто не учит. Но пафос фразы «И я щекотала, и меня щекотали» ну просто не мог не вызвать смеха!

Все как-то нехорошо ёжились.

– Так это Анна Ивановна тебе посоветовала? – в замешательстве спросил Игорь, с симпатией относившийся к Жениной тихой доброй маме, всегда при встрече подносивший ей сумки и высоко ценивший её пироги с яблоками.

– А учительница хороша! – Инна, у которой сын учился в шестом классе, была у школьников вечным правозащитником. – Как уродовали детей, так и сейчас уродуют! Вот Сашке химичка на днях говорит: ты бездельник! А какое она имеет право…

– Ладно! – прервал безжалостный Воскресенский, – Сашка ваш – действительно бездельник, так что нечего тут. А ты, – и он прищурился на Женю Черешневу, и она поняла, что сейчас получит, – а ты учти, что рассказывать такие истории – всё равно, что рассказывать, как тебя в подростковом возрасте изнасиловал в подъезде страшный дядька. Если уж случилось – надо молчать, деточка.

Воскресенский, надо заметить, всегда умел вот так: пара-

доксально, но правду, грубо, но глубоко. Пригвоздить человека одной фразой, рывком обнажить его суть. Это, может, и есть талант, а, может, человека просто колбасит. И его ещё в институте ненавидят преподаватели-ретрограды и ценят, то есть побаиваются, преподаватели-личности. Женя Черешнева сразу поняла, что он прав, конечно, прав, она ведь и сама ни разу никому до сих пор не рассказывала этой истории… почему-то. А ей казалось, что просто забыла и всё, а сейчас вот к месту вспомнила… Сделалось очень стыдно. Ещё на третьем курсе Воскресенский договорился с ней, что они вдвоём пойдут в деканат договариваться насчёт летней практики, поскольку со всеми вместе они по каким-то причинам не могли. Она его прождала в курилке час, потом он пришёл, сказал, что у него часы остановились, но что пусть она не волнуется, он уже сам в деканат зашёл и обо всём договорился: он едет туда-то, а она туда-то. И когда она сказала, что так нехорошо, что они же договорились вместе идти, что она же ждала, он слабо поморщился, и ей стало стыдно.

– И вообще, – продолжил Воскресенский, – ради красного словца умный человек никогда…

– Мне кажется, мы несколько отвлеклись, – вдруг возник Николай Николаевич.

– Я не договорил, – сморщился Воскресенский, потому что невозможно терпеть, когда тебя перебивает ничтожество, но Николай Николаевич его как-то не услышал, а продолжал неожиданно прорезавшимся голосом опытного лек-

тора-ретрограда:

– Да, отвлеклись от темы. Говоря о щекотке, нельзя не отметить, что реакция на лёгкое, но постоянное раздражение определённых зон носит в значительной степени аверсивный характер, от латинского «aversatio» – отвращение. Звуки, которые издаёт человек, подвергающийся щекотке, действительно напоминают смех. Но на самом деле это маскирующийся под смех сигнал, что человек больше не может терпеть, что это мучительно, что он хочет, чтобы прекратили. Если не прекратить, то случится спазм дыхательных мышц, и человек умрёт от удушья… Смеясь.

Говоря всё это, Николай Николаевич очень пристально смотрел на Женю Черешневу, уж очень пристально, и даже потом слегка пододвинул свой стул и наклонил голову, чтобы заглянуть ей в глаза снизу.

– Что? Что такое? – спросила она.

– Да нет, нет, ничего, мне просто показалось, – улыбнулся он ей ласково, как выздоравливающей собаке. – Сейчас желтуха ходит, и первый признак – жёлтые склеры. Но мне показалось. Освещение такое. Всё у вас в порядке. Абсолютно. Просто мыть руки. К чему только ни прикасаемся, тут уж ничего не поделаешь. Но руки лишний раз вымыть стесняться не надо. Не бойтесь. Ну, мне пора, всего доброго, Инночка, не провожайте.

Лиза и постовой Тищенко

Лиза и постовой Тищенко охраняли дворец. Они сидели в маленькой комнатушке с радиатором, а над ними высилась зефирная громада дворца с белыми лепными вазонами, которые издали казались париками придворных дам XVIII века.

Лиза. Худая и длинная, даже не столько длинная, сколько худая, ходит всё время в брюках, стрижка – каре, и это неизменно, сколько я её знаю. Ей тридцать два года. Сначала многие недоумевают, почему сравнительно молодая женщина позволяет себе каждый день, с восьми до шестнадцати, торчать в прокуренной комнатке, зимой сбрасывать снег с «париков», когда нападает, летом подтирать полы из ценнейшего искусственного мрамора, возить на тележке тапочки с завязками, и скучно сдавать дворец на сигнализацию, уходя домой. Почему эта женщина не учительница, не врач, не инженер на худой конец, уж о банковских служащих и менеджерах я не говорю? Все эти вопросы люди задают, не видя Лизы. Увидев её, сразу всё понимают. Руки есть, ноги есть, довольно тонкое лицо с большой родинкой на щеке. Никакого конкретного ужасного заболевания, так чтобы можно было сказать: «У неё диагноз». Но речь и походка такие размеренные, голос такой тихий и модуляции его настолько незначительны, что сразу ясно: этот человек сосредоточен на од-

ном – выжить. Он затаился и выживает. Лиза – слабенькая. Той слабостью, когда вроде бы ничего не болит, но взять в жилконторе форму 9 – целое дело, и после него мучительно хочется лечь, а отпроситься у начальника пораньше – всё равно, что первой признаться в любви. Не понимаю, почему так сцепились гены Лизиных матери и отца, людей вполне жизнеспособных и сильных. В школе нам показывали модель ДНК – цветную спираль – пластмасса на проволоке. Так вот, Лизина ДНК представляется мне этаким волнистым полупрозрачным шнурком, слабым ростком, из последних сил стремящимся вытянуться в струнку. Так, думает он, легче выжить.

Постовой Тищенко. Мужчина. Лет двадцати пяти, среднего роста, с мягкими каштановыми волосами (он ими гордится) и тошнотворной привычкой откровенно потягиваться, выкатывая грудь и формирующийся животик. Ангар – овчарка, с которой он охраняет дворец. Лиза не могла понять, почему у собаки такая кличка, но я ей объяснила, что так постовому Тищенко легче произносить слово Анкор. И оказалась права. Я вообще понимала ход мысли постового гораздо лучше, чем Лиза. Почему – потом объясню.

Очень возможно, что ДНК Тищенко по крутизне и цветовому решению ничем не отличалась от той школьной модели.

Далее, видимо, от меня ждут какого-нибудь головокружительного поворота: например, постовой Тищенко всей сво-

ей здоровой душой полюбил слабую Лизу, или: бледный росток Лиза инстинктивно потянулась к крепкому постовому Тищенко. Ничего такого не будет… Я тут не о любви, а о ненависти. О той упорной, как мигрень, ненависти, что развивается в семьях, маленьких трудовых коллективах, коммунальных квартирах и переполненных автобусах. В метро, кстати, уже нет, потому что там, по крайней мере, у каждого своя ступенька на эскалаторе.

Лизе и постовому Тищенко никто не объяснял, кто из них главный. Поэтому Тищенко, естественно, решил, что он, и это вполне устраивало Лизу. И пока велись разговоры типа «Давай наверх, за лопатой, вон сколько снега, блин, навалило!», всё было нормально.

Лиза, между прочим, моя подруга, и кто её обидит, тот, как говорится, трёх дней не проживёт. Но Лизина слабость иногда принимала вот какие формы. Например, едет Лиза в электричке, а рядом компания полупьяных подростков с модно бритыми затылками, и девочки их ржут (вот я всегда удивлялась, куда у девушек деваются по окончании пубертатного периода их лужёные глотки!). И как мне смущённо признавалась Лиза, смотрит она на них, слушает их мат и гогот, и хочется ей, «чтобы их просто не было, понимаешь, совсем не было!». И никакие Диккенс и Экзюпери, зачитанные до дыр, ни молитва «Отче наш», тут же призываемая Лизой на помощь, не могли отвлечь её от упорной мысли: «Хочу, чтобы их не было».

Постовой Тищенко громко не ржал. Он вообще редко смеялся, серьёзно к себе относился. И Лиза к себе относилась серьёзно. Что же могут делать два серьёзно к себе относящихся человека в маленькой комнатушке целый рабочий день? Разумеется, рассказывать друг другу о себе. Лизе тоже не чужд этот жанр, это я знаю. Но здоровый жизненный опыт постового пёр из него с гораздо большей силой. И Лиза слушала, как Тищенко женился, родил двух детей (это он так сказал: родил двух детей), а женился, можно сказать, на первой встречной, потому что его не дождалась из армии девушка, на присягу приезжала, всё, потом прихожу – она с пузом, хотел ей, сучке, по морде дать, да ладно, думаю… Когда Лиза удивлялась, как же можно по морде – женщине, да ещё беременной, постовой Тищенко разумно возражал, а куда же её ещё бить, не по животу же, плати потом пенсию, если урода родит! Лиза была в очень сложном положении. В её стройном мире девушки должны были всё-таки дожидаться любимых из армии, и тут Лизе бы посочувствовать постовому, но она почему-то не могла. Может, потому, что от любимого не могло так сильно пахнуть одеколоном и не мог он после еды так любовно чистить зубы зубной нитью. Интересно, что неприятные привычки других Ментов, с которыми приходилось вместе дежурить, Лизу нимало не раздражали. Серёга, скажем, иногда в сердцах сплёвывал на пол, а любитель фантастики Шурик ковырял в носу, задумавшись над книгой. Лиза с ними дружила, вернее сказать, приятельство-

вала, и меня, помню, знакомила, когда я заходила к ней во дворец.

Там ещё был парк. Мне он казался большим аквариумом – пейзажный парк с деревьями-водорослями. Может, ассоциация с водной стихией возникала оттого, что там очень легко было двигаться – один раз толкнёшься ногой – уже у Лизиного дворца.

Лиза воспринимала парк и три дворца, как свои владения. «Я – в Большой», – деловито говорила она, когда я иной раз встречала её в пустой аллее с папкой для бумаг или каким-нибудь инвентарём. При этом мне было абсолютно всё равно, ходила по этой аллее Екатерина II или не ходила, а Лизе – нет.

Лиза поняла, что ненавидит постового Тищенко, когда однажды увидела, как он кидает камушки в пруд перед дворцом. Ей почему-то очень противным и даже непристойным показалось бульканье. Постовой Тищенко лениво кормил камнями всё устоявшееся, тихое, строгое, всё, что было дорого Лизе, и это чистое и спокойное, чавкая, то есть булькая, ело из его рук! Лиза хотела, чтобы Тищенко не было, совсем не было.

Но они оба были, и были в одном парке и в одной комнатке. Я пишу «были» не потому, что они, Боже упаси, умерли, и если кто ожидает кровавой развязки, то ждёт зря. Нет, они живут себе в том же городе, просто ненависть отпустила их, по крайней мере, Лизу отпустила, а я здесь о ненависти.

Беда заключалась в том, что Тищенко Лизиного отношения не замечал. Что называется, мужик на барина три года обижался, а барин о том и не знал. Скоро ненависти стало так много, что Лизе пришлось поделиться с Шуриком и Серёгой. Обиняками, конечно, осторожно. Те ровно ничего не поняли: Тищенко – мужик как мужик, ничего особенного. Но поскольку оба понимали, или, скорее, чувствовали, что Лиза-то как раз особенная, то посоветовали ей плюнуть на это дело, не обращать внимания, не брать в голову, занавесить, ни в какие разговоры с Тищенко не вступать, сидеть себе и молчать, как рыба об лёд.

Но когда Лизу о чём-нибудь спрашивают, молчать она не может! Её родители так воспитали: на вопросы надо отвечать, и лучше правду, потому что неправда всё равно потом выплывет.

Откуда у них взялось такое убеждение, я примерно представляю. Лизе оно могло бы уже не пригодиться, но родители об этом не подумали, и потом, тут думай – не думай, а гены… Спираль обратно не раскрутишь. И вот в феврале, в один из тех дней, когда руки опускаются настолько, что варежки бессильно повисают, постовой Тищенко явился на работу со свежевымытой головой. Он долго расчёсывал перед осколком зеркала свои густые и волнистые (какая гадость!) волосы, и Лиза поняла, что он их дома ещё и феном уложил. Её чуть не стошнило. А он возьми и спроси:

– Тебе нравится моя причёска?

– Нет! – честно ответила Лиза, и никогда ещё ей не было так легко и приятно говорить правду.

Дело в том, что до сих пор постовой Тищенко не обращался к Лизе с вопросами. Ей отводилась пассивная роль пруда, в который он кидал и кидал смачные куски своего жизненного опыта. И вдруг он не услышал привычного бульканья. И он всё понял. Я утверждаю, что это был Лизин звёздный час! С красными пятнами на щеках она стояла у радиатора, который нещадно жёг ей лодыжку, и смотрела, как наливаются ненавистью бледно-голубые глаза Тищенко. Понял наконец! Да, Лиза была счастлива, и даже не скрывала этого

от меня, когда потом рассказывала. Зато постовой был очень несчастен. Пригрел змею на груди! Он ведь не пинал её, не издевался над ней, уродом, а она, оказывается, всё это время…

– Ты чего выё….? – он даже матюгнуться не смог – дыханье от гнева перехватило. – А ну вали отсюда! Слышала? Гуляй!

Лиза ещё теснее прижалась лодыжкой к радиатору. Дальше всё было очень естественно. Слабый ведь всегда сам подсказывает сильному, как с ним, слабым, поступить… И Лиза, дрогнув, невольно взглянула на пистолет, висевший у Тищенко на поясе (не забывайте, они ведь дворец охраняли). Сейчас как вынет Тищенко пистолет из кобуры… А дальше законы природы, по-моему, перестали действовать Лиза-то постовому сигнал подала, и он его принял, перехватив её взгляд, но истолковал почему-то так: мало ли чего этой придурочной в голову взбредёт, всё-таки огнестрельное оружие! И то, что трусость в нём возобладала над жлобством, есть в моих глазах великая победа цивилизации над дикостью. Лиза тоже считает, что это победа, но не хочет понимать, что постовой струсил. Она искренне верит, что Тищенко вдруг осознал, как сильно обижал её, и именно потому вдруг засуетился: «ладно, ладно, ты это, сядь, успокойся, не нравится так не нравится, водички хочешь?» И ненависть отпустила Лизу, и ей стало совестно – как в электричке, после встречи с подростками. И они досидели день, вернее, Лиза

досидела, потому что постовой Тищенко как вышел с Ангаром пройтись сразу после стычки, так и ходил вокруг дворца до конца смены. А потом он вообще с начальством договорился, чтобы в одну смену с Лизой не попадать. А потом Лиза по рассеянности и усталости оступилась и разбила китайскую напольную вазу, и её прогнали из дворца, что она сочла совершенно естественным.

Странно. Сколько мы потом с Лизой говорили об этом, она всё не уступала, всё утверждала, что постовой Тищенко не испугался тогда. Теперь, когда она больше его не ненавидит, она не может думать о нём так плохо. В Лизиной чёткой и стройной системе ценностей и гадостей трусость занимает одно из последних мест, то есть первых снизу. И это тоже понятно, если принять во внимание, что, например, Лизин папа в одиннадцать лет целую зиму умирал, но не умер в нетопленной комнате в центре Ленинграда, а в 15 лет был отправлен ликвидировать последствия войны, то есть разминировать окрестности города. Ногу он потерял, но сохранил уверенность, что бояться стыдно.

Нет, не постовому Тищенко было тягаться с Лизой, слишком слабой, чтобы быть трусихой, молчаливо живущей по законам военного времени. А мы с постовым, как ни неприятно мне объединяться с ним, – мирные люди. Но наш бронепоезд… Почему я и придерживаю Лизу за рукав всякий раз, как она, завидев Тищенко на улице, рвётся к нему здороваться и спрашивать как дела.

Ветер в голове

Собрались в просторном помещении, в три часа дня, в апреле. Были очень молоды и не отдавали себе отчёта в том, что собрались, чтобы сделать гадость. Воспринимали всё это просто как ещё один всплеск жизни, и радовались ему, как любой возможности встретиться и болтать, болтать, не слушая себя, не чувствуя, что в их речи случаются и значимые фрагменты, в том числе, и великолепные образцы наивной низости. Собрались, чтобы одобрить исключение из института, из того, в котором учились сами, из какого – неважно, потому что сопромат, начертательная геометрия, анатомия, мат. анализ, теоретическая грамматика, – всё, всё, что угодно, в этом возрасте способно если не вызвать, то усилить трепет: «Как чудесно, что и меня не обошли жизнью! Иначе как бы я оказался здесь, с этими людьми, смог бы разговаривать с ними…». Собрались, чтобы попробовать лишить одного из них права на этот трепет. Собрались, потому что он женился. И не только женился, но и хотел уехать к жене из страны, в которой его не обошли жизнью. Которая согласилась стать его родиной. Позволила его матери мучиться схватками в большом зале без занавесок на окнах, так что в краткие промежутки между приступами боли и страха она могла тупо смотреть на чахлые пыльные июльские кроны и окна соседнего дома… Получилось, что деньги на эти окна без занаве-

сок, эти кроны, окна, кровати, парты, лабораторные работы, и всё прочее, потрачены зря. Конечно, если взглянуть, например, с ближайшей планеты, присутствовала в самом факте собрания некоторая избыточность: его бы и так отчислили, он ведь всё равно не смог бы каждый день приезжать на занятия из Северной Америки на Васильевский остров!

Мыслей, для такого большого помещения, было не так уж много. Первая: так зачем нас собрали, если всё уже решено (мысль здравая и, по крайней мере, чистоплотная, – заметно, что зубы человек по утрам чистит). Вторая: а всё-таки хорошо, что собрались, – интересно ведь, происходит что-то, и повидаться лишний раз, мы все друг к другу хорошо относимся, и свой институт любим… (мысль патриотически-сентиментальная, со сладким замиранием в области сердца, насчёт зубов уже не поручусь). Третья: гад он, в общем-то, хотя и умный, ему и болтать с нами всегда было западло (продолжение и развитие сентиментальной мысли с замиранием в области сердца, а с зубами совсем беда). Порхали, конечно, и мысли-однодневки, которые не стоит принимать в расчёт: «Надо же ещё голову помыть и накраситься, и успеть к семи на Петроградскую, к Светке на день рождения, интересно, надолго ли эта тягомотина… Или: «Чего я, дурак, сел сзади, теперь смотри на её шею, мучайся…».

Разумеется, я тогда ничего этого не понимала. Это всё – позднейшие напластования. И вообще, ничего этого не было, не было, всё – вымысел, а вернее, просто мысли, как де-

вяносто процентов моей жизни. Не может быть таких собраний; стран и городов, где бывают такие собрания; людей, которые участвуют в таких собраниях. Я всё это выдумала, чтобы оправдать свой нынешний ненормальный образ жизни.

А что ещё мог сказать после вызова на инструктаж к начальству Паша Савельев, комсорг, любимец соответствующей кафедры, умница и первый кандидат в аспирантуру?

– Да, он хорошо учился, делал доклады на СНО, успешно сдавал экзамены и зачёты. Но всё это – не потому, что ему нравилось дело, которому мы все решили посвятить себя, не потому, что ему была дорога честь института, – он всегда стремился обратить на себя внимание, выделиться. Он не был нам товарищем. Я, например, уверен, что на всём курсе у него нет ни одного друга.

Паша остался бы просто человеком без лица, каким и был раньше, а слова, которые он говорил, – бессмысленным набором звуков, как и положено таким словам, но дело в том, что говорил он тихо, а слышно было в последнем ряду, и ещё время от времени он тёр лоб ладонью, мол, трудно мне говорить, тяжело мне, а в его голубых глазах светились то молодая ненависть, то застарелая зависть. Но друга на всём курсе не оказалось ни одного, тут он был прав. Или обладал гипнотическими способностями, и сумел внушить это залу. Друг бы уж как-нибудь исхитрился не проголосовать за формулировку «осудить за…». Я не очень уже помню, за что именно предлагалось осудить. Я же говорю, ничего этого не было,

потому что быть не могло.

Пятеро «героев» воздержались. Каждый из них, видимо, сказал себе беззвучно: «Да чёрт с ним, с этим собранием, всё равно уезжает, с его-то мозгами его там куда угодно возьмут!». Я лично голосование просидела, зажатая между двумя сокурсницами, старательно и безрезультатно вытирая ладони о клетчатую юбку. Я не смогла бы оторвать ладони от юбки ни за что на свете: ни за, ни против, ни воздержаться. При подсчёте голосов никто не обратил на меня внимания. Ни профессор Лямина, у которой, при энциклопедических знаниях и очень даже неплохих манерах оказалось лицо партийной стервы 30-х годов (я же говорю, ничего не было – откуда я тогда могла знать, какие лица у партийных стерв 30-х годов, их же ещё не показывали по телевизору в перестроечных фильмах, а сама я в 30-е не жила), ни Паша Савельев, занятый речью, ни подруга Вера, которой было известно всё, ну, почти всё, и чей твёрдый аккуратный профиль и поднятая рука долго потом меня мучили, ни Лёня, который, сразу после того, как его «осудили за…», молча покинул помещение, а вскоре и страну.

Слава богу, в тот день, возвращаясь домой, от безразличия к внешнему миру и лестнице в частности, я оступилась, упала и сломала нос. Потом перед зеркалом в ванной пыталась поставить его на место, как было, вправить что ли, и потеряла сознание. Так что ощущение собственной подлости не проткнуло меня сразу насквозь, как вязальная спица

клубок шерсти, а после короткого «наркоза» мягко накрыло, как зонт. И всё остальное отныне поступало ко мне сквозь этот фильтр.

Обмороки всегда выручали. Однажды я от нечего делать пробежала глазами колонку какой-то газеты, не помню, какой, они все были одинаковые. Там привычно сообщалось, что в Южной Африке по-прежнему свирепствует апартеид, и вот его жертв разнообразно пытают и… избивают палками (и город указывался, и число жертв) по половым органам. Я сидела на табуретке в кухне, вся в холодном поту, руки дрожали, газ под чайником выглядел настоящим северным сиянием. Итак, эта пытка – именно для мужчин, для женщин, безусловно, придумано что-то своё… В то время я представляла себе половые органы мужчины разве что по картинке в учебнике анатомии и репродукциям в книге Куна «Мифы и легенды Древней Греции», но всем существом почувствовала, как это должно быть безумно, невыносимо больно. Как ни странно, именно с этой заметки в официозной газете, задолго до чтения Солженицына и Шаламова, много позже «Мартина Идена» и «Трёх товарищей», появилось у меня мучительное чувство сострадания мужчинам. И когда со всех сторон заплаканные подруги кричали, что все они козлы, что им только одного надо; и когда сама убедилась, что да, действительно, только одного, и ничего больше не предлагать, всё равно где-то в подсознании сидело, что их первыми убьют на войне (других, может быть, тоже убьют, но их – точно),

что они не имеют права даже заплакать, и что им очень легко сделать очень больно.

А на следующий день после заметки про апартеид начался очередной, неважно который по счёту, потеряли уже счёт, съезд партии. И вот преподаватель с соответствующей кафедры, симпатичный такой дядька, где-то он сейчас, чем занимается, с неподдельным волнением объявляет о Событии согнанным в большую аудиторию студентам, и все почему-то стоят, непонятно, зачем и куда вынесли стулья, а мне вдруг, в очередной раз за сутки вспоминаются те несчастные южноафриканцы, и я плавно начинаю оседать на пол. Почти всю речь я пропустила, потому что Лёня тихонько оттащил меня к окну, и дул мне в лицо, и пока я приходила в себя, у меня в голове как будто гулял влажный тёплый ветер.

Обморок не может длиться вечно – пока, во всяком случае. Вернувшись, сознание взялось за меня всерьёз. Оно подсовывало мне, например, мою собственную гадкую, потную ладонь, прилипшую к юбке в клетку, фас Паши Савельева, профиль Веры, но, главное, поцелуй. Губы на секунду замирают между виском и щекой, боятся приблизиться к другим губам, чувствуют, и правильно, между прочим, что от этого произойдёт нечто непоправимое. Переминаешься с ноги на ногу, неуклюже, как слонёнок. Ещё раз замирают, уже совсем близко. Да нет, уже ничего не поделаешь, обратной дороги нет… Полагалось бы сказать, что дальше я ничего не помню, но я помню всё, и только это и намерена защищать

от склероза и маразма до последнего гормона в крови. Только это и было на самом деле, за мусорным контейнером с беспомощной надписью «All you need is love», и с другой, рядом, явно более поздней, победительно безграмотной, – «Canibal». Об остальном, конечно, рассказывалось, по молодости и глупости, подругам, но об этом – никогда. Всё-таки хватало ума сообразить: запас таких поцелуев в мире конечен, и если досталось тебе, то не досталось, допустим, Вере, и ей будет трудно понять, почему. Мне лично именно этот поцелуй, а не всё остальное, чего тоже было не так уж мало, позволял надеяться, что от меня не уедут на другую планету с другой женщиной, чья речь, как это всегда бывает у инопланетянок, напоминает кваканье. Но ведь и ему то же самое позволяло надеяться, что я, ну если и не изменю для него мир, выбросив из него один апрельский день – вернее, вторую чего часть, после трёх, то хотя бы сама из него выпаду; если и не подниму руку «против», то хотя бы нос сломаю на несколько часов раньше.

На такие примерно мысли я трачу девяносто процентов выдаваемого мне на жизнь времени. Остаётся только удивляться, что за оставшиеся десять процентов удалось закончить институт, найти сносную работу, завести вялотекущий, другой мешал бы мне думать, роман, потом всё-таки прекратить его, вписаться в небольшой круг друзей. Иногда я вдруг чувствую: что-то не так, что-то сильно не так – это я часа на два отвлеклась от своих мыслей.

Ну что, хватит уже? Довольно? Всё ясно? Будет ли ещё что-нибудь происходить? Происходить ничего не будет, хотя ничего и не ясно. Что может произойти со мной, пока я под защитой этих мыслей? Это же всё равно, что в обмороке – не достанешь. Конечно, конечно, можно аккуратно подобраться и всё разрушить. Да что там! При современных-то технологиях! Когда такая маленькая, изящная, удобная штучка в любой момент способна выстрелить тебе в голову контрольным вопросом «Ты где?»! Я – здесь: за мусорным контейнером…. Выключенная, как мобильный телефон. Не достать меня. Я «вне зоны действия». Но можно и по старинке, лично…

О чём я собственно думаю столько лет, раз уж об этом заговорили? Какие такие проблемы решаю? Встречаюсь с друзьями, слушаю, сама болтаю, привычка-то есть, но уже на второй минуте начинаю тосковать: когда же, всё надеюсь, будет о важном? Например, можно ли остаться честным, будучи слабым? Или, неужели, правда, никто никому ничего не должен? А вот ещё: является ли ревность смягчающим обстоятельством? Мои друзья – симпатичные, хорошие люди, они не раз помогали мне советами и деньгами. Некоторые из них – вполне сумасшедшие. Но никто не безумен настолько, чтобы представить себе, что когда их нет рядом, а иной раз и при них, я бываю сильно занята обдумыванием вышеуказанных и десятка других вопросов, а ещё ведь на поцелуй сколько уходит времени, снова и снова… Так что когда спра-

шивают, почему, например, я до сих пор не написала диссертацию или не родила ребёнка, или не скопила денег каторжной работой, я стараюсь придумать что-нибудь более-менее разумное, хотя, безусловно, нет мне оправданий.

Конечно, ругают за эту «спячку», хотя ведь за руку-то не поймаешь, и это, безусловно, раздражает. Но иногда всё же ругают – дружно так, и один сменяет другого, передаёт ему эстафету, а тот – следующему, с удовольствием, азартно, желая только добра. Когда бранят или даже просто уговаривают в несколько голосов, ловишь себя на том, что невольно радуешься их единодушию: приятно, люди друг друга понимают, спелись, им хорошо, они правы. Может быть, и жертва группового изнасилования способна испытать тень мазохистской радости от слаженности действий своих обидчиков.

Если сидеть напротив окна, в ветреную погоду, и смотреть, как некоторые ветки рвутся за оконную раму, ограничивающую для вас внешний мир, как они после неудачной попытки отступают, и снова рвутся, и всё это кипит и волнуется, и толку от этого никакого, и дерево не из красивых и не из полезных – тополь, и всё его предназначение – почти немо и совершенно бестолково метаться листьями, то вот это и буду я, со своими мыслями. Что же вас не раздражает это дерево? У него тоже ветер в голове.

Паша Савельев подошёл, когда я ела блин с сыром около киоска «Теремок». Обычно я вижу знакомого человека за версту, в любой толпе, и успеваю принять меры, чуть изме-

нив траекторию движения. Но было темно, было 28 декабря, у метро «Владимирская» стояла огромная ёлка, неподалёку сидел сокрушённый Достоевский. Над Достоевским, ёлкой, мною у высокого и холодного мраморного столика, горели на тёмном небе необыкновенно яркие звёзды. Всерьёз казалось, что я владею этой планетой, конечно, на паях с другими, входящими и выходящими из метро, но владею: и морями, и вулканами, и горами. Что мы: Достоевский, будущие и бывшие пассажиры метро, я, – заняты, пусть не в главных ролях, во всемирном спектакле; и там, на других планетах, откуда смотрят, где знают в этом толк, там понимают, что роли без слов – ещё какие трудные.

Паша просто встал за мой столик со своим блином. Я давно привыкла к тому, что самые лучшие ландшафты своей жизни мы наблюдаем с людьми посторонними, безразличными, а то и неприятными, а с небезразличными и родными видим вместе разве что помойки и обшарпанные стены. Ничего, не жалко: пейзаж попробовал бы отвлечь от любимого лица, скорее всего, был бы побеждён и пропал бы. И пропадал же, наверно, сколько раз! Общаясь с Пашей, я всё время чувствовала, что делаю что-то очень неправильное, что надо бы отойти от него теперь же и под любым предлогом. Сказать «Не стану с тобой, гадом, есть блины за одним столом» я не могла, и вы это прекрасно понимаете, зная уже, что я за птица, вернее, что за дерево. Паша был только что из-за границы, выглядел вполне цивилизованно, уши, – мо-

жет быть, единственное в Пашином организме, что могло бы считаться хоть сколько-нибудь неприличным, были надёжно закрыты щеками; и очень хотелось ему поговорить на родном языке, пусть даже и со мной. Так что уесть его я могла лишь односложными ответами. Паша либо вообще не понял, что его здесь не надо, что он неприятен, что в долю мы его не возьмём, и не видать ему наших вулканов, как своих ушей, либо умело скрыл, что понял, – тоже ведь артист в своём роде. Однако задерживаться не стал, довольно скоро почуяв во мне празднодумающее существо, совершенно ему не интересное, а под занавес произнёс следующий монолог:

– Кстати, Лёньку там видел. Ничего, процветает. Дурак! Видно же было, куда ветер дует. Чуть-чуть попозже уехал бы без всяких хлопот, не пришлось бы и на этой швабре американской жениться, просто так уехал бы, а с его мозгами… И без всякой этой нервотрепки, без собраний, без романтизьма этого долбанного, без героики. У нас с их фирмой контракт был, ну, посидели с ним… С женой вроде разошёлся…

В общем, Паша вылил свой ушат холодной воды на мою мельницу: и женился-то Лёня тогда исключительно, чтобы уехать (а, любил-то, может всё-таки… ну а почему бы и не меня, в конце концов?), и семейная жизнь не сложилась (поделом!), и, главное, они с Пашей «посидели»! С Пашей, который публично обдал его словесным поносом. Что там моя жалкая рука, приросшая к юбке, мой застрявший в горта-

ни голос, моё трусливое соучастие! Значит, срок давности истёк, значит, можно быть слабой и честной одновременно, значит, никто никому ничего не должен, и не только ревность, но и аспирантура – смягчающее обстоятельство. А уж ревность – в наши-то бешеные, неистовые, отвязанные времена – точно!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.